

Сотая премьера

Игорь Малибеев

Р
А
С
С
К
А
З

Худ. С. Каретко

Никто в театре не подсчитывал, сколько спектаклей поставил на своем веку режиссер Самуил Саввич. Но сам он знал: очередная его премьера — юбилейная, сотая, и собирался отдать ей все силы души.

Впрочем, все силы души он отдавал ровно девяносто девять раз. Бывал и шумный успех, ложились на совесть и провалы. Заносило иногда в сторону, да так, что самому потом становилось удивительно, куда его метнуло. Лет пятнадцать назад он такого накрутил в «Коварстве и любви», что и сейчас вспомнить стыдно.

И после каждой из девяносто девяти он чувствовал себя до конца опустошенным, не способным ни на что новое. Казалось, не найдет больше мысли, чтобы перелить ее в новые образы, и никакая пьеса не заинтересует его теперь.

Тянулись дни, тяжелые дни упадка всех сил, но вот в душе начинало шевелиться нетерпеливое ожидание события.

Потом появлялась пьеса.

Новая! Она становилась единственной целью жизни.

Читать новую пьесу он принимался, недовольно пофыркивая, иногда возмущаясь. Читал по кускам, откладывая в сторону и снова возвращаясь к прочитанному.

Жена, хорошо изучившая его, точно определила его манеру:

— Ты, словно кот с салом: сначала

лапкой потрогает, а потом вцепится и урчит, чтобы не отобрали.

Артисты, занятые в его постановке, проклинали и жизнь, и режиссера: он мог среди ночи позвонить по телефону или явиться сам, чтобы рассказать о найденном решении какой-нибудь сцены. Работая с Самуилом Саввичем, участникам спектакля приходилось забывать дом и семью, и отдых.

Бывало, спектакль не давался, если режиссер вступал в единоборство с автором. Созданный рисунок постановки ломался, как будто стройное здание, оказавшись без фундамента, рушилось. Нервничал Самуил Саввич, выходил из себя, мучились актеры, а день премьеры неумолимо приближался. Чаще всего метания приводили к совсем новому решению. Спектакль оказывался спасенным.

Сотым спектаклем Самуилу Саввичу хотелось поставить что-то значительное: пусть на сцену ворвутся человеческие страсти. Пускай зрители увидят силу духа человеческого, любовь, смерть, победу подлинного героя.

И вот, бывает же такое в жизни! Сотым его спектаклем оказались «Свиные хвостики».

Эту пьесу должен был ставить главный и заболел. Отложить нельзя, — если не сдать премьеру в декабре, сорвется годовой план новых постановок. Цехи уже готовили оформление и костюмы к злосчастным «Хвостикам». Выхода не было, и Самуил Саввич вместо большого полотна о страстях человеческих принял на свои плечи чешскую комедию «Свиные хвостики».

Он нес домой пьесу, небрежно сунув в карман шубы, которая из-за своей

монументальности делала Самуила Саввича похожим на памятник себе.

«Обязательство! План! — зло вертелось в голове Самуила Саввича. — Черт бы вас всех побрал — и директора, и главного. Если для тебя план важнее всего — какого дьявола болеть?».

Большого издевательства, большого свинства, чем эти «Свиные хвостики», жизнь не могла ему подсунуть. Может быть, Алексей Александрович прав — вещь обаятельная, оригинальная, но это же юбилейный — сотый. И вдруг — хвостики. «Свиные хвостики»!

Разве это не обидно?

Мало ли пришлось перенести обид. Больших и едва заметных. Главная, которая сбила на какое-то время с ног: поставил веселый задорный спектакль «Вас вызывает Таймыр» и был обвинен в космополитизме. В то время требовалось, хочешь не хочешь, а отыскивать повсюду «безродных космополитов», вот и его наскоро записали в эту категорию.

Снег падал и падал, преображая землю. Под белым покровом все казалось новым, незнакомым: бульвар, деревья на нем, фонари, задорно, набекрень, надевшие пухлые шапки снега.

Все сверкало и искрилось вокруг. Каждый куст, мягко согнув ветви под тяжестью снежинок, утверждал вечную истину о том, что мир преображается, стоит только вмешаться какой-то внешней силой.

«А может быть, эти «Свиные хвостики» не так-то плохи? И кто сказал, что юбилейная — сотая премьера? А я объявлю сто первую своим юбилеем. Это звучит даже новаторски. Я ж не последний год живу и на пенсию не собираюсь. Хорошо! Пусть будет! «Хвостики» так «Хвостики», черт с ними!».

Дома он заперся в своей комнате и, беспрестанно ероша седеющие кудри, погрузился в чтение. На столе перед ним, как обычно, стояла бутылка нарзана и бокал.

Это было первое прочтение — залпом, без отрыва. Когда кончил читать, уже темнело. Включил настольную лампу. Налил бокал нарзана, поднес было ко рту, но рука замерла.

Свет ударял в бокал, он дробился в гранях, искрился в тысяче живых, стремительных пузырьков, бегущих кверху.

Понял: таким сверкающим, искристым, озорным, утоляющим жажду радости должен появиться на сцене этот спектакль.

Его сотый спектакль!

Аншлаг «Все билеты проданы» появился над кассой за два дня до премьеры.

— Я не велел болтать, что спектакль сельскохозяйственной тематики — и полный порядок, — похвалился администратор.

Самуил Саввич взорвался:

— Ну, сколько раз вам долбить: нет спектаклей сельскохозяйственных или промышленных.

— Э-эх, Самуил Саввич, облизполкомы такие и этакие есть, а спектаклям сам бог велел.

Администратор собрался было привести последнюю актерскую шутку: режиссеров тоже распределяли по категориям: который упрекает актеров, что текст они говорят механически — этот промышленный, который кричит: «Вы текст говорите или сено жуете?!» — сельскохозяйственный. Ну, а главный — этот «ни к селу, ни к городу». Но Самуилу Саввичу сейчас совсем — было не до шуток — голос его уже доносился из глубины сцены.

На отдыхе Самуил Саввич с удовольствием читал Чапека «Как делается спектакль» и от души смеялся над остроумным показом закулисной жизни, но стоило только надвинуться премьере, чувство юмора его покидало, он сам становился прообразом высмеянного Чапеком режиссера.

На последних репетициях полос Самуила Саввича становился зычным, все технические средства — рупор, фонарик, звонок — держались под рукой, пиджак слетал с плеч, галстук сползал набок. Заложив руки за подтяжки, он метался по залу, вскакивал на сцену, врвался в действие. Он ругался с осветителями, кричал на помрежа, ожесточенно швырял

себе в рот сразу две таблетки валидола, обессиленно валился на подвернувшийся стул, но через минуту снова гремел:

— Виталик! Сердце мое! — кричал он из зала Хомутову, игравшему роль председателя колхоза. — Ты не думай, что сейчас репетиции конец и ты побежишь домой котлетки с горошком есть. Забудь, что тебя Виталиком зовут. Тебя сию минуту в тюрьму поведут, узелка собрать не успеешь. Вон председатель райисполкома идет! Он уже все-е знает. Знает, как ты свинью забил и колхозным гостям скормил. Некуда тебе податься! Убежать, спрятаться — ноги отказали от страха. Ты через голову, кувырком...

— Аннушка, ненаглядная моя! Разве ж так орет жена, когда ее муж бьет? Дома бы попрактиковались, что ли. Василь Василии, милый, да врежь ты ей покрепче, чтобы воровать не повадно было. С жиру бесится, а тебе позор на весь колхоз...

— Девушки, девушки! Это не танец! Тягомотина!

Вспрыгнув на сцену, Самуил Саввич принимался плясать азартно, с задором. Грузный, стареющий мужчина вдруг, неведомо как, становился беззаботной девчонкой, которая пляшет от всей души, и пококлетничать с партнером не забывает, и девичьего достоинства не теряет...

«Свинные хвостики» — сегодня ничего другого в жизни не было. Он засыпал с мыслью о них и, просыпаясь, тотчас вспоминал. Его бросало из крайности в крайность: то казалось, что все прекрасно и Виталий Хомутов превзошел себя в роли незадачливого председателя колхоза, а Захар Федорович Листопадов не создавал образа комичнее Ники-молчальника. Чего стоит эта ухмылка от уха до уха, когда он деловито перетаскивает поросенка к подсвинкам, подсвинка к кабанчикам, кабанчика к кабанам, чтобы председатель мог, списав поросенка, зарезать кабана.

То вдруг нападало отчаяние: нет, юмор не дойдет до зрителей, не найден темп спектакля. Тогда он бросался к директору, молил отложить спектакль, дать поработать еще, грозил полным провалом.

Директор, привычный к подобным

сценам, позволял ему выплеснуть все тревоги, сомнения. Потом наливал стакан воды и говорил почти вкрадчиво:

— Премьера состоится точно в срок, дорогой Самуил Саввич.

Стакан дрожал в руке режиссера.

— Я снимаю с себя всякую ответственность. Это халтура! — в отчаянии хрипел Самуил Саввич.

— Нет, халтурить нам с вами никто не позволит. Надо спектакль сдать в срок и надлежащей кондиции. — Директор почему-то любил это не совсем подходящее в данном случае слово...

И вот занавес дрогнул, раздвинулся в стороны.

Премьера...

Вся радость, что приносит премьера, была выпита в этот день. В зале не умолкал добрый смех, аплодисменты вспыхивали то и дело. Актеры, подогретые приемом зрителей, играли легко, без напряжения.

Пожимая руки актерам, кланяясь зрителям, Самуил Саввич испытывал чувство полного успеха.

Администратор сулил десятки аншлагов подряд.

Но когда потухли огни ramпы и Самуил Саввич вышел из опустевшего театра, состояние неуверенности и тревоги опять овладело им. Откуда оно появилось, он знал прекрасно.

Вчера на приеме спектакля представитель газеты не высказал своего мнения. В ответ на усиленные просьбы пожал плечами и кисло улыбнулся.

— Я частное лицо. По спектаклю выступит газета — общественный орган.

Зато инспектор управления культуры Горохов не скрыл своего недовольства — он встретил спектакль в штыхы.

Горохова не любили в театре. Был он злосчастное дитя всяческих слияний и реорганизаций. С завидной легкостью, с какой цыган менял корову на козу, козу на курицу, Горохов менял должности. Помотало его изрядно и, наконец, неведомо почему вынырнул он в должности директора школы библиотечных работников, а оттуда вроде прямая дорога в управление культуры, где в число его

«объектов» вошел и театр.

Держался Горохов уверенно, с апломбом, мог и речь подходящую к случаю произнести, только вылезали из нее длинные уши, вроде слов «конкретно» и «юридированный».

В театре ходили о нем анекдоты. В одном из спектаклей он потребовал «больше живности», а когда зашла речь о постановке «Лисистраты» Аристофана, спросил, где этот автор проживает, если в социалистической стране, то поставить стоит.

На обсуждении «Хвостиков» Горохов поднялся, вытер платком свое рыхлое лицо с крупными рябинами и произнес с дрожью в голосе от переполнявшего его негодования:

— Что это такое? Где вы, товарищи, видели в жизни, чтобы председатель колхоза через голову кувыркался?

«Птичка божия не знает ни заботы, ни труда», — начал торопливо декламировать в уме Самуил Саввич: надо было чем-то заполнить голову, чтобы не пустить в нее гороховских слов.

— Послушайте! Это же комедия! Так и Ровенских в Москве решил этот спектакль, — не сдержавшись, выкрикнул Листопадов.

— Не знаю я никаких Равнинских, — не задумываясь, отпарировал Горохов. — Не-ет, дорогие товарищи, руководящие организации не позволят председателю через голову кувыркаться! Мы не допустим исказить нашу героическую действительность...

Тревога Самуила Саввича оправдалась: выступление Горохова по спектаклю было только началом. Газета на этот раз оказалась необыкновенно оперативной, и рецензия вышла на третий день после премьеры.

Актеры в это утро смотрели на Самуила Саввича настороженно, здоровались тихими голосами, как с больным. Понял — рецензию успели прочитать все.

Статья начиналась сухо, с подчеркнутой бесстрастностью излагалось содержание комедии:

«Председатель колхоза получил от

исполкома разрешение забить одну свинью на праздничное угощение колхозников и гостей. Кто-то обвиняет председателя в скупости. Потеряв чувство ответственности, председатель идет на очковгирательскую комбинацию, в результате которой забивает еще одну свинью. В конце пьесы обман разоблачен, но отнюдь не наказан — дело кончается тем, что колхозники как бы берут председателя на поруки».

Прочитав эти строки, Самуил Саввич готов был вырвать все свои кудри. Как можно говорить о произведении искусства вот таким сухим, суконным языком? И забыть при этом о форме, о системе образов, несущих большую идею.

«Не пытается ли театр преподнести зрителю наглядную инструкцию, как создавать излишки поголовья и разбазаривать его? — ехидно вопрошал рецензент.— Все предусмотрено: даже колхозному оркестру председатель дает знак рявкнуть во все трубы, чтобы заглушить предсмертный визг свиньи».

Поскольку пьеса чехословацкая, автор рецензии не решился напасть на автора и перенес весь огонь на режиссера, «не сумевшего правильно прочесть пьесу», «оглупившего замечательных тружеников колхозных полей». Режиссеру припомнили все, даже давно-давно провалившуюся постановку «коварства и любви».

«Тогда зрители были свидетелями бега актеров по нелепым конструкциям, сейчас исполнители, по воле режиссера, бегают по плоскости друг за другом, за свиньей, за председателем колхоза, за председателем исполкома. Не хочет ли режиссер идею спектакля донести ногами?».

Критик без зазрения совести резвился на всех семи колонках подвала. Он ловко жонглировал именами Гоголя, Станиславского, Охлопкова и обрушивал их на Самуила Саввича, на актеров, покрикивая: «Так в жизни не бывает», «зритель не потерпит», «зритель не позволит фальсифицировать», «исказить действительность». Этот «зритель», с которым так близок был критик, выскакивал из каждого абзаца рецензии и, взмахнув

дубинкой, гвоздил и гвоздил режиссера.

«Кому нужен этот эклектический гибрид стилей? Эта сельскохозяйственная оперетта в драматическом театре? Кому угодно, но не зрителю, не народу!».

Так заканчивалась рецензия.

Главный, режиссер Алексей Александрович сидел в своем кабинете, когда к нему ворвался Самуил Саввич.

— Читали?

Алексей Александрович мрачно кивнул головой.

— Ну и что? Вы можете к этому отнестись спокойно? — вспыхнул Самуил Саввич.

— Дорогой мой, — грустно произнес главный, — этот спектакль и я бы так же решил. Вы приняли удар, предназначавшийся мне. Написать можно все. Только эти слова — перевертыши. Вы же не поверили им. И я не поверил, и никто не поверит.

— Слова! — рванул себя за волосы Самуил Саввич. — Для вас это только слова. Это общественное мнение. Оно высказано. У кого теперь защиты искать?

— У зрителя, наверное, — задумчиво ответил Алексей Александрович.

Небольшая надежда на зрителя теплилась и у Самуила Саввича, но дни шли, а события не радовали. Обещания администратора не оправдались: аншлагов не было. Он удрученно разводил руками: «Целевых спектаклей не покупают. Говорят: «Читали — народу не нужен этот спектакль». Кинулся в пригородный колхоз — отмахнулся председатель: «Читали — там про свиней. Свиней у нас своих хватает. Нам бы про любовь да чтобы на шпагах дрались...»

Неорганизованный зритель шел, не торопясь: театралы побывали на премьере, кое-кого отпугнула статья, других останавливала «сельхозтематика», а третьи подгадывали сходить в субботу или воскресенье. Это давало Горохову основание укоризненно покачивать головой.

— Нет, не принимает народ. Не принимает.

Со дня премьеры прошло две недели.

В это солнечное утро все три режиссера собрались в кабинете директора. Директор только что предложил им высказаться по плану летних гастролей, как настойчиво, междугородным звонком затрещал телефон.

Директор умел управлять своим лицом, и все же не мог скрыть, что разговор ему неприятен. Говорят, есть у человека шестое чувство. Вот этим чувством, наверное, и уловил Самуил Саввич: телефонный разговор имеет прямое отношение к нему и к «Свинным хвостикам».

Директор положил трубку.

— Ну, товарищи, ехать в район придется с «Хвостиками». Пытался «Марию Тюдор» подсунуть — не кушают. Секретарь колхозной парторганизации смотрел у нас «Хвостики». Ну, конечно, и газету читал. Вот и решил показать спектакль колхозникам, а после него провести зрительскую конференцию. Нравится вам такой вариант?

В кабинете стояло тягостное молчание.

— Так что готовьтесь к выезду, Самуил Саввич, — прихлопнул ладонью по столу директор.

— Может быть, Самуил Саввич, вы не здоровы, съезжу я, — великодушно предложил главный.

— Нет, зачем же, — сухо вато отказался Самуил Саввич, — спектакль мой — мне и отвечать за него...

Следующий день принес еще одну тревожную весть: до директора дошло, что секретарь обкома по пропаганде собирается смотреть этот спектакль в колхозном клубе и берет с собой кого-то из журналистов, чтобы газета дала отчет о зрительской конференции.

— Чепуха! — сразу решил умудренный опытом главный режиссер. — Секретарю на премьеру пригласительный посылали — не пришел. Хотел бы видеть спектакль, здесь бы смотрел. Когда это было, чтобы секретари обкома ездили в колхоз спектакли смотреть? Другого дела у них нет. Насчет мяса и молока поедут, а

спектакль смотреть... Не смешите меня, пожалуйста!

Горохов ехал с ними. Ехал в одном автобусе. Это еще больше настораживало.

Он сидел нахохлившийся, сердитый — знал: секретарь обкома Бугров за этот спектакль не помилует управление культуры, «просмотревшее», «допустившее», «не сумевшее навести порядка в подведомственном учреждении». Ой, сколько есть на свете убийственных формулировок, выражающих недовольство вышестоящего начальства. Эти формулировки Горохов отлично знал и умел предугадывать.

Ему пришлось поехать с артистами в театральном автобусе — персональной машины теперь не было. Подняв воротник пальто и втянув в него голову, Горохов каждой рябинкой своего лица выражал стойкое неодобрение: миру, окружающему его, спектаклю, подорвавшему авторитет управления культуры, актерам, не страдающим угрызениями совести. На Самуила Саввича он просто не смотрел, обегая его своими прозрачными глазами.

Угрызений совести актеры, действительно, не испытывали, но настроение у всех было препаршивое: кому же охота нарываться на очередную проработку!

Виталик Хомутов, недавно сыгравший Бубуся в «Опасном возрасте», запел было свою любимую песенку: «Два туза, а между—кралечка вразрез. Я имел надежду, а теперь я — без...», но его опалил негодующий взгляд Горохова, да и сам он сообразил, что последние слова уж очень точно определяют сложившуюся ситуацию. Он умолк и погрузился в мрачные размышления. В конце концов, именно он падал и кувырчался, а следовательно, он искажал действительность и образ председателя сельскохозяйственной артели.

Впрочем, не на всех присутствие Горохова действовало угнетающе. Молоденькая актриса Бубнова, не понижая голоса, рассказывала секрет нового крема для лица, весьма сложного по составу и неопределенного по действию. Актер Борский, как всегда, скептически улыбаясь,

держал высоко свою красивую голову — он был уверен, что критика на этот раз обойдет его стороной: играет он председателя исполкома умного и чуткого, через голову не кувыркается, действительности не искажает.

У вместительного здания колхозного клуба гремел оркестр. Большая станица разбросана по увалам и, высаживаясь из автобуса, Самуил Саввич увидел улицы, идущие сверху вниз, по этим улицам двигался народ, хотя было еще рано. Он зябко передернул плечами: это шли зрители, которые, по заверениям газеты, «не допустят», «не потерпят» и учинят после спектакля разгром театру.

Выйдя из автобуса, Горохов всем своим видом спрашивал: «дождались?», «достукались?» Он хотел было тоже пройти за кулисы, но Самуил Саввич преградил ему дорогу и дипломатично напомнил, что надо бы встретить Бугрова. Спohватившись, Горохов зашепшил в фойе.

...Актеры не расходились по гримировочным: они толклись в коридоре, словно не зная, что им делать. Это испугало Самуила Саввича такое состояние может привести к утрате нерва спектакля, и его живая ткань расплзется на глазах.

Осторожно кашлянув, Листопадов, предложил:

— Самуил Саввич, а если и правда — того... — глаза Захара Федоровича скользнули вниз, — может, вымарать кое-какие мизансцены. Смягчить кое-что. В общем, учесть критику...

На секунду душа Самуила Саввича ответно дрогнула. Да, это самый легкий путь, и не раз раньше он сворачивал на эту боковую тропинку. Только приводила она в никуда. Сворачивать он больше не хочет.

— Будем играть ничего не меняя, - твердо, глядя в глаза Листопадову, заявил Самуил Саввич. — В том же ключе, в том же темпе. Пора гримироваться, товарищи. Спектакль должен идти хорошо, даже лучше, чем он шел на премьеру.

Он увидел, как озабоченное румяное лицо Виталика осветилось улыбкой и приняло свое обычное, чуточку восторженное выражение, как выпрямился

Листопадов, как облегченно вздохнули все.

Состояние неуверенности, тревоги отступило.

Через час откроется занавес, и спектакль пойдет хорошо.

Спектакль окончен.

Рабочие быстро убрали декорации, поставили на сцене стол, покрытый красной скатертью, стулья. Актеры торопливо снимали грим.

Самуилу Саввичу казалось, что никогда он так не уставал, как сегодня. Проклятое состояние какой-то обреченности! Его не рассеял ни смех, доносившийся из зрительного зала («нужен ли нам такой смех?»), ни внимание, с каким зрители смотрели спектакль (смотрят, а потом возьмут и «не допустят»), ни бурные аплодисменты (те, что хлопали, по домам разбегутся, а те, что сейчас говорить будут, наверное, не хлопали).

Заглядывая в зал во время спектакля, Самуил Саввич видел и секретаря обкома Бугрова. Он сидел в окружении Горохова и еще каких-то людей. Как они реагируют на спектакль, Самуил Саввич старался не замечать.

После окончания спектакля у Самуила Саввича мелькнула наивная надежда: время позднее — авось все ринутся по домам и обсуждение не состоится. Хорошо бы! Но надежда не оправдалась: отдохнув, зрители вновь заполняли зал, и меньше их не стало.

В этот момент Самуил Саввич и столкнулся с Бугровым. Андрей Ильич шел в зал вместе с высоким, лобастым человеком — секретарем партийной организации колхоза Володиным, по инициативе которого и состоялся выездной спектакль.

— Спасибо вам, — пожал Володин руку Самуилу Саввичу, — будет о чем поговорить.

— Знаю уж... — невесело усмехнулся Самуил Саввич.

— Что-то вы мрачно настроены? — прищурился Бугров, чтобы скрыть смешинку в глазах. — Спектакли ставите веселые, а вид, как на похоронах.

— По обстоятельствам и вид, — пробормотал в ответ Самуил Саввич,

— Приготовились критику слушать? — понял Бугров.

— А как же! Всегда готовы. Любить — не очень любим, а глотаем в любой порции.

Теперь глаза Бугрова откровенно смеялись.

— Как касторку, значит, или хину? Ну-ну! «Бывает критика горше хины, если бьют не по существу, а по команде», — хотел задиристо ответить Самуил Саввич, но не успел.

— А вы с автором рецензии знакомы? — вдруг спросил Бугров.

Час от часу не легче! И критик этот здесь. Мавр сделал свое дело, а уйти не захотел. Мало ему! Еще добавить собрался!

Самуил Саввич наугад ткнул руку. Ее пожал укололицый, бледный человек с брезгливо поджатыми губами.

«Вот заставь его портрет заглазно нарисовать — таким бы и изобразил, с чувством острой неприязни подумал Самуил Саввич.

— Наверное, у него больной желудок, или фурункулы мучают. Не без того!».

На сцене за столом сели втроем: Самуил Саввич, Володин и Симакова — заведующая колхозным клубом.

Бугров заявил, что хочет слушать конференцию из зала. Горохова просто никто не догадался пригласить, и он приткнулся в первом ряду, покрасневший от обиды.

Только уселись за стол, а из зала послышался крик:

— Председателя на сцену! Семена Кузьмича просим! Пороховникова на сцену!

Володин усмехнулся:

— Семен Кузьмич! Голос масс — тебя просят.

В зале дружно захлопали.

Высокий, несколько грузный человек, с уверенными манерами и улыбочивым лицом, легко поднялся на сцену. На нем ловко сидел дорогой, хорошо сшитый темно-коричневый костюм, галстук завязан не без некоторого шика. Это и был председатель прославленного колхоза-миллионера Семен Кузьмич

Пороховников.

Сев рядом с Самуилом Саввичем, Пороховников хмуро шепнул ему:

— Ну и обрисовали вы колхозные порядки!

А в зале опять кричали:

— Старшего чабана третьей бригады Зимакова на сцену... Доярку Капустину Варвару.

Капустина было заупрямилась, не хотела выходить на сцену.

— Чего я там не видела!

Но ее вытолкнули.

— Иди, Варвара! Иди, коли народ требует.

Поскрипывая высокими резиновыми ботами и шурша шелком платья, она, залитая румянцем, поднялась на сцену.

И еще голос:

— А если, товарищи, нам и рецензента из газеты на сцену?

Это сказал Бугров, встав и поглядывая на колхозников чуточку насмешливо, словно включаясь в заранее продуманную игру.

В зале дружно захлопали. Это окончательно расстроило Самуила Саввича. Какая-то злобная покорность овладела им.

«Ну и говорите! Говорите, что угодно!», — повторял он про себя.

Было жалко только Виталика Хомутова и Листопадова тоже. Работали они на совесть, с увлечением, образы создали прекрасные. И решение спектакля ведь есть. Интересное, свежее решение. Неужели, этого никто не понимает?

Самуил Саввич покосил глазами на листок, лежащий перед Володиным. По издавна заведенному порядку всех встреч и обсуждений, на листке должно стоять несколько фамилий тех, кого заранее подготовили выступить. На этот раз листок оставался чистым.

Володин встал, постучал карандашом о графин.

— Товарищи, спектакль мы с вами просмотрели, вот и давайте выскажем, у кого что на сердце. Поговорим и про спектакль, и про жизнь.

Зал молчал. Володин оглядел ряды. Ни одна рука не поднялась.

— Что ж, подождем, — спокойно сказал он.

Молчание начинало тяготить Самуила Саввича, да и не его одного...

И вдруг хрипловатый голос прервал тишину:

— Позволь мне, Васильич!

В конце зала поднялась высокая женщина с обветренным лицом. Голову ее покрывала праздничная цветастая шаль.

— Слово имеет доярка Карасева. Иди сюда, на сцену, Дарья Петровна, — пригласил Володин.

— Я и отсюда скажу, — отмахнулась женщина. — Голосу хватит. Я одно словцо и скажу-то. Вот про нее, про Варвару Капустину. Не зря мы ее на люди вывели,

Капустина рванулась было со сцены, но рука Володина удержала ее.

— Сиди! Смотри людям в глаза.

— Мы тебе, Варвара, промеж себя предупреждение давали, а теперь я все перед, народом выложу. Ты вот видела в спектакле эту худющую, парикмахерову жену, что зельцу спроворила? Скажи нам, когда на нее смотрела, про кого думала? А мы про тебя. Варвара, думали. Ты нам сколько времени глаза отводила, все говорила — печенка у тебя неисправная, грелка, дескать, нужна. А сама в той грелке сливки с фермы таскала. Мы тут промеж собой перекинулись словцом и спектакль устроим тебе почище сегодняшнего. А мы из твоей грелки сливки-то выльем да такого нальем, что рада не будешь. Хлебай на доброе здоровье!

Под громкий хохот доярка села на место. А Капустина стремительно метнулась за кулисы. На этот раз Володин не стал ее задерживать.

«Ну, какое это имеет отношение к спектаклю! К его форме, содержанию?» — нервно подумал Самуил Саввич.

— Так, — сказал Володин. — Почин есть. Кто следующий? И, заметив идущего по проходу рыжеусого человека в черном костюме, объявил: — Слово Ивану Ивановичу Кондратенко.

Сев на место, Володин шепнул Самуилу Саввичу:

— Наш знатный комбайнер. Член

правления. Толковый мужик.

Кондратенко поднялся на сцену.

— Артистам я, товарищи, большое спасибо скажу. И постановку хорошо подготовили: и приехать до нас не отказали. Скажу: правильно, что огрехи наши на смех подняли, где по-доброму, а где и со злом. Дарья вон как со сцены сиганула. Может, где актеры и дюже резво бегали — председатели у нас резво не скачут, только ведь и мы понимаем, что к чему и зачем суэта поднялась. Уж больно надоело, как в кино или на сцене волынку затянут часа на два. И слова вроде правильные и нужные говорят, а слушать охоты нет. Тут все безотрывно смотрели и поразмыслить есть над чем.

Давайте-ка и мы глянем, не торчит ли где и у нас в колхозе свиной хвостик и нет ли за этим хвостиком целой свиньи или другого какого свинства. Оно, конечно, председатель наш через голову на людях не кувыркается. Он больше в президиумах сидит, в область ездит, в Москву. С соседней областью соревнование проверять делегация едет, само собой, без товарища Пороховникова не обходится. Только вот колхозные-то дела у него другой раз почище акробата кувыркаются. Ну, сколько мы, Семен Кузьмич, силоса задожили? А сколько показали? Зачем? Кого обманули? Себя или вон их, — указал он на Бугрова. — Освоить дополнительные земельные площади, поднять целину! Хорошее дело. А мы? Тут как тут: взяли и запахали без разбору все дороги по-над лесополосами. Ни скота прогнать, ни проехать от фермы к ферме. Само собой дороги опять пролегли. Только семена сгубили. Про уток уж не говорю. Рапорт за рапортом! Развели! А те ути сначала нас чуть не пожрали, а потом с голоду передохли. На счетах шелкали — все ладно: девять пишем два в уме. Вот и скажи народу, Семен Кузьмич, не пора ли кончать кувыркаться, не пора ли твердо на ноги встать, ни народ, ни Советскую власть не обманывать? Он спустился со сцены, шел между рядами, и люди хлопали ему. Но прежде чем сесть на свое место, Кондратенко крикнул:

— А вот пускай маяк наш, если у

него совесть не погасла, скажет, какое ему распоряжение Семен Кузьмич делал.

В президиуме поднялся чабан Зимаков.

— Я скажу. Я всю жизнь по правде жил, у меня внуки подрастают. Ни к чему мне облыжная слава. А мне председатель наш говорит: «Ты, товарищ Зимаков, у нас в маяки вышел, про тебя газеты пишут, нельзя, чтобы у тебя при зимнем окоте падеж был. Так вот, говорит, покажи, что у тебя на сотню маток не сто сорок, а сто тридцать ягнят приходится. Десяток голов зарезервируй, значит, чтобы перекрыть, если падеж будет и опять же на внутриколхозные нужды, если из начальства кто приедет...» Чего греха таить, согласился я попервах-то, а сегодня посмотрел спектакль и другое решил. — Он повернулся к Пороховникову. — Нет, Семен Кузьмич, жил я честно, честным и помирать буду.

Самуил Саввич ожидал всего: несправедливых упреков, обвинений, в глубине души надеялся, что возникнет спор и, кроме противников спектакля, найдутся его сторонники, но все шло не так, как всегда, не по привычному. Значит, живет то, чему верил Станиславский, верили великие драматурги, режиссеры и актеры: театр был и остается школой, способной вмешиваться в деяния людей.

Самуил Саввич запустил пальцы в седеющие кудри и сидел, сжимая ладонями виски. Думал не о себе, не о спектакле — думал, о людях, о большой жизни, высоких чувствах, которые ворвались из зала на сцену. Как же надо знать людей этих и их жизнь, только через это знание искусство наполняется правдой, а творчество становится крылатым...

Нет, и спектакль, и игра актеров, и даже режиссерское решение не остались без оценки.

— Искусство должно объединять чувство, мысль, волю трудящихся, поднимать их, как нас учил Ленин, — волнуясь говорила тоненькая девушка-звеньевая, недавняя десятиклассница. — Вот в газете про гротеск написано, а если эта форма помогла режиссеру и актерам

донести мысль спектакля заострить ее?..

Поднявшись на сцену, высокий старик — колхозный садовод — повернулся к рецензенту, словно с ним одним хотел вести свой негромкий разговор.

— В народе так говорят: «Не ломай рябину, не вызревши, не болтай впустую, дела не вызнавши». У вас, товарищ, не знаю как вас по имени-отчеству, сила, мощь в руках слово. От черта, в старину говорили, крестом оборонешься, от медведя — пестом. А от слова неправого чем?..

Старика поддержал Володин.

— От имени народа говорите? «Народ не хочет», «народ не позволит», а откуда вы народ знаете? Когда и где вы в его жизнь проникли?..

Бугров выступил в самом конце собрания. Он обратился прямо к Самуилу Саввичу.

— Вам тоже кое-какие выводы надо сделать из собственного спектакля. Нет, не режиссеру, а человеку. Спектакль хороший — вы сами в этом убедились сегодня. Да и раньше, наверное, знали. Вот ваш председатель колхозникам не поверил — отсюда его беды начались. Вы зрителям не поверили. Видел я, с каким обреченным, убитым видом вы на суд его шли. И в критику не до конца верите, в ту большую, подлинную, которая от народа идет, а не от снобов, присвоивших себе право высказываться за народ, которого они не знают и не любят. Я и вам, режиссеру, и актерам одно желаю: жить и работать для народа, знать его, верить ему. Ну, а о колхозных делах, товарищи, разговор серьезный завтра на собрании уполномоченных. Готовься, товарищ Пороховников...

Старенький театральный автобус мотало по рытвинам и ухабам дороги.

Уставшие артисты дремали. Листопадов уже легким храпом с присвистом известил о своем отбытии в царство сна.

Самуил Саввич тоже прикрыл глаза. Задумался. И вдруг выпрямился, подался вперед.

Он понял: сотая премьера его состоялась сегодня.